

Воительница

Автор:

Николай Лесков

Воительница

Николай Семёнович Лесков

Воительница

Очерк

Вся жизнь моя была досель

Нравоучительною школой,

И смерть есть новый в ней урок.

Ап. Майков

Глава первая

– Э, ге-ге-ге! Нет, уж ты, батюшка мой, со мною, сделай милость, не спорь!

– Да отчего это, Домна Платоновна, не спорить-то? Что вы это, в самом деле, за привычку себе взяли, что никто против вас уж и слова не смей пикнуть?

– Нет, это не я, а вы-то все что себе за привычки позволяете, что обо всем сейчас готовы спорить! погоди еще, брат, поживи с мое, да тогда и спорь; а пока человек жил мало или всех петербургских обстоятельств как следует не

понимает, так ему – мой совет – сидеть да слушать, что говорят другие, которые постарше и эти обстоятельства знают.

Этак каждый раз останавливала меня моя добрая приятельница, кружевница Домна Платоновна, когда я в чем-нибудь не соглашался с ее мнениями о свете и людях. Этак же она останавливала и всякого другого из своих знакомых, если кто из них как-нибудь дерзал выражать какие-нибудь свои замечания, несогласные с убеждениями Домны Платоновны. А знакомство у Домны Платоновны было самое обширное, по собственному ее выражению даже «необъятное» и притом самое разнокалиберное. Приказчики, графы, князья, камер-лакеи, кухмистеры, актеры и купцы именитые – словом, всякого звания и всякой породы были у Домны Платоновны знакомые, а что про женский пол, так о нем и говорить нечего. Домна Платоновна женским полом даже никогда не хвалилась.

– Женский пол, – говорила она, когда так уже к слову выпадет, – мне вот как он мне весь известен!

При этом Домна Платоновна сожмет, бывало, горсть и показывает.

– Вот он, – говорит, – женский-то пол где у меня, весь в одном суставе сидит.

Столь обширное и разнообразное знакомство Домны Платоновны, составленное ею в таком городе, как Петербург, было для многих предметом крайнего удивления, и эти многие даже с некоторым благоговейным страхом спрашивали:

– Домна Платоновна! как это вы, матушка?..

– Что такое?

– Да что – вы со всеми знакомы?

– Да, мой друг, со всеми; почти решительно со всеми.

– Какими же это случаями и по какой причине...

– А все своей простотой, решительно одной простотой, – отвечает Домна Платоновна.

– Будто одной простотой!

– Да, друг мой, все меня любят, потому что я проста необыкновенно, и через эту свою простоту да через доброту много я на свете видела всякого горя; много я обид приняла; много клеветы всяческой оттерпела и не раз даже, сказать тебе, была бита, чтобы так не очень бита, но в конце всего люди любят.

– Ну, уж за то же и свет вы хорошо знаете.

– А уж что, мой друг, свет этот подлый я знаю, так точно знаю. На ладонке вот теперь, кажется, каждую шельму вижу. Только опять тебе скажу – нет... – добавит, смущаясь и задумываясь, Домна Платоновна.

– Что ж еще такое?

– А то, друг мой, – отвечает она, вздохнувши, – что нынче все новое выдумывают, и еще больше всякий человек ухитряется.

– Как же и чем он ухитряется, Домна Платоновна?

– А так и ухитряется, что ты его нынче, человека-то, с головы поймашь, а он, гляди, к тебе с ног подходит. Удивительно это даже, ей-богу, как это сколько пошло обманов да выдумок: один так выдумывает, а другой еще лучше того превзойти хочет.

– Будто уж-таки везде один обман на свете, Домна Платоновна?

– Да уж нечего тебе со мною спорить: на чем же, по-твоему, нынешний свет-то стоит? – на обмане да на лукавстве.

– Ну есть же все-таки и добрые люди на свете.

– На кладбищах, между родителей, может быть, есть и добрые; ну, только проку-то по ним мало; а что уж из живой-то из всей нынешней сволочи – все одно

качество: отврат да и только.

- Что ж это так, Домна Платоновна, по-вашему выходит, что всё уж теперь плут на плуте и никому уж и верить нельзя?

- А ведь это, батюшка, никому не запрещено, верить-то; верь, сделай одолжение, если тебя охота берет. Я вон генеральше Шемельфеник верила; двадцать семь аршин кружевов ей поверила, да пришла анамедни, говорю: «Старый должок, ваше превосходительство, позвольте получить», а она говорит: «Я тебе отдала». - «Никак нет, говорю, никогда я от вас этих денег не получала», а она еще как крикнет: «Как ты, говорит, смеешь, мерзавка, мне так отвечать? Вон ее!» говорит. Лакей меня сейчас ту ж минуту под ручки, да и на солнышко, да еще штучку кружевцов там позабыла (спасибо, дешевенькие). Вот ты им и верь.

- Ну, что ж, - говорю, - ведь это одна ж такая!

- Одна! нет, батюшка, не одна, а легион им имя-то сказывается. Это ведь в первые времена-то, как крестьяне у дворян были, ну точно, что в тогдашнее время воровство будто до низкого сословия все больше принадлежало; а как нонче, когда крестьян не стало, господа и сами тоже этим ничуть не гнушаются. Всем ведь известно, какое лицо на бале бриллиантовое колью сфендрил... Да, милый, да, нынче никто не спускает. Вон тоже Караулова Авдотья Петровна, поглядеть на нее, чем не барыня? а воротничок на даче у меня в глазах украла.

- Как, - говорю, - украла? Что вы это! Матушка Домна Платоновна, вспомните, чту вы говорите-то? Как это даме красть?

- А так себе просто; как крадут, так и украла. Еще ты то скажи, что я это ту ж самую минуту заметила и вежливо, политично ей говорю: «Извините, говорю, сударыня, не обронила ли я здесь воротничка, потому что воротничка, говорю, одного нет». Так она сейчас на эти слова хватить меня по наружности и отпечатала. «Вывести ее!» - говорит лакею; очень просто - и вывели. Говорю лакею: «Милостивый государь! сам ты, говорю, служащий человек, сам, сказываю, посуди, голубчик, ведь свое, ведь жалко мне!» А он мне в ответ: «Что, говорит, жалко, когда у нее привычка такая!» Вот тебе только всего и скажу. Она теперь в своем звании всякие привычки себе позволяет, а ты, бедный человек, молчи.

– И что ж вы изо всего этого, Домна Платоновна, выводите?

– А что, батюшка, мне выводить! Не мое дело никого выводить, когда меня самое выводят; а что народ плут и весь плутом взялся, против этого ты со мной, пожалуйста, лучше не спорь, потому я уж, слава тебе Господи, я нонче только взгляну на человека, так вижу, что он в себе замыкает.

И попробовали бы вы после этого Домне Платоновне возражать! Нет, уж какой вы там ни будьте диалектик, а уж Домна Платоновна вас все-таки переспорит; ничем ее не убедите. Одно разве: приказали бы ее вывести; ну, тогда другое дело, а то непременно переспорит.

Глава вторая

Я непременно должен отрекомендовать моим читателям Домну Платоновну как можно подробнее.

Домна Платоновна росту невысокого, и даже очень невысокого, а скорее совсем низенькая, но всем она показывается человеком крупным. Этот оптический обман происходит оттого, что Домна Платоновна, как говорят, впоперек себя шире, и чем вверх не доросла, тем вширь берет. Здоровьем она не хвалится, хотя никто ее больною не помнит и на вид она гора горою ходит; одна грудь так такое из себя представляет, что даже ужасно, а сама она, Домна Платоновна, все жалуется.

– Дама я, – говорит, – из себя хотя, точно, полная, но настоящей крепости во мне, как в других прочих, никакой нет, и сон у меня самый страшный сон – аридов. Чуть я лягу, сейчас он меня оморит, и хоть ты после этого возьми меня да воробьям на пугало выставь, пока вволю не выплюсь – ничего не почувствую.

Могучий сон свой Домна Платоновна также считала одним из недугов своего полного тела и, как ниже увидим, не мало от него перенесла горестей и несчастий.

Домна Платоновна очень любила прибегать к медицинским советам и в подробности описывать свои немощи, но лекарств не принимала и верила в одни только гарлемские капли, которые называла «гаремскими каплями» и пузыречек с которыми постоянно носила в правом кармане своего шелкового капота. Лет Домне Платоновне, по ее собственному показанию, все вертелось около сорока пяти, но по свежему ее и бодрому виду ей никак нельзя было дать более сорока. Волосы у Домны Платоновны в пору первого моего с нею знакомства были темно-коричневые – седого тогда еще ни одного не было заметно. Лицо у нее белое, щеки покрыты здоровым румянцем, которым, впрочем, Домна Платоновна не довольствуется и еще покупает в Пассаже, по верхней галерее, такие французские карточки, которыми усиливает свой природный румянец, не поддавшийся до сих пор никаким горестям, ни финским ветрам и туманам. Брови у Домны Платоновны словно как будто из черного атласа наложены: черны несказанно и блестят ненатуральным блеском, потому что Домна Платоновна сильно наводит их черным фиксатуаром и вытягивает между пальчиками в шнурочек. Глаза у нее как есть две черные сливы, окрапленные возбуждительною утреннею росой. Один наш общий знакомый, пленный турок Испулат, привезенный сюда во время Крымской войны, никак не мог спокойно созерцать глаза Домны Платоновны. Так, бывало, и заколотится, как бесноватый, так и закричит:

– Ай грецкая глаза, совсем грецкая!

Другая на месте Домны Платоновны, разумеется, за честь бы себе такой отзыв поставила; но Домна Платоновна никогда на эту турецкую лесть не поддавалась и всегда горячо отстаивала свое непогрешимо русское происхождение.

– Врешь ты, рожа твоя некрещеная! врешь, лягушка ты пузастая! – отвечает она, бывало, весело турку. – Я своего собственного поколения известного; да и у нас в своем месте даже и греков-то этих в заводе совсем нет, и никогда их там не было.

Нос у Домны Платоновны был не нос, а носик, такой небольшой, стройненький и пряменький, какие только ошибкой иногда зарождаются на Оке и на Зуше. Рот у нее был-таки великонец: видно было, что круглою ложкою в детстве кушала: но рот был приятный, такой свеженький, очертание правильное, губки алые, зубы как из молодой редьки вырезаны – одним словом, даже и не на острове необитаемом, а еще даже и среди града многолюдного с Домной Платоновной поцеловаться охотнику до поцелуев было весьма незлоключительно. Но высшую

прелесть лица Домны Платоновны бесспорно составляли ее персиковый подбородок и общее выражение, до того мягкое и детское, что если бы вас когда-нибудь взяла охота поразмыслить: как таки, при этой бездне простодушия, разлитой по всему лицу Домны Платоновны, с языка ее постоянно не сходит речь о людском ехидстве и злобе? – так вы бы непременно сказали себе: будь ты, однако, Домна Платоновна, совсем от меня проклята, потому что черт тебя знает, какие мне по твоей милости задачи приходят!

Нрава Домна Платоновна была самого общительного, веселого, доброго, необидчивого и простодушно-суеверного. Характер у нее был мягкий и сговорчивый; натура в основании своем честная и довольно прямая, хотя, разумеется, была у нее, как у русского человека, и маленькая лукавинка. Труд и хлопоты были сферою, в которой Домна Платоновна жила безвыходно. Она вечно суежилась, вечно куда-то бежала, о чем-то думала, что-то такое соображала или приводила в исполнение.

– На свете я живу одним-одна, одною своею душенькой, ну а все-таки жизнь, для своего пропитания, веду самую прекратительную, – говорила Домна Платоновна: – мычусь я, как угорелая кошка по базару; и если не один, то другой меня за хвост беспрестанно так и ловят.

– Всех дел ведь сразу не переделаете, – скажешь ей бывало.

– Ну, всех, хоть не всех, – отвечает, – а все же ведь ужасно это как, я тебе скажу, отяготительно, а пока что прощай – до свиданья: люди ждут, в семи местах ждут, – и сама, действительно, так и побежит скороходью.

Домна Платоновна нередко и сама сознавала, что она не всегда трудится для своего единого пропитания и что отяготительные труды ее и ее прекратительная жизнь могли бы быть значительно облегчены без всякого ущерба ее прямым интересам; но никак она не могла воздержать свою хлопотливость.

– Завистна уж я очень на дело; сердце мое даже взыграет, как вижу дело какое есть.

Завистна Домна Платоновна именно была только на хлопоты, а не на плату. К заработку своему, напротив, она иногда относилась с каким-то удивительным

равнодушием.

«Обманул, варвар!» или «обманула, варварка!» бывало; только от нее и слышишь, а глядишь, уж и опять, она бегают и распинается для того же варвара и для той же варварки, вперед предсказывая самой себе, что они и опять непременно надуют.

Хлопоты у Домны Платоновны были самые разнообразные. Официально она точно была только кружевница, то есть мещанки, бедные купчихи и поповны насылали ей «из своего места» разные воротнички, кружева и манжеты: она продавала эти произведения вразнос по Петербургу, а летом по дачам, и вырученные деньги, за удержанием своих процентов и лишков, высылала «в свое место». Но, кроме кружевной торговли, у Домны Платоновны были еще другие private дела, при орудовании которых кружева и воротнички играли только роль пропускного вида.

Домна Платоновна сватала, приискивала женихов невестам, невест женихам; находила покупателей на мебель, на надеванные дамские платья; отыскивала деньги под заклады и без закладов; ставила людей на места вкупно от гувернерских до дворнических и лакейских; заносила записочки в самые известные салоны и будуары, куда городская почта и подумать не смеет проникнуть, и приносила ответы от таких дам, от которых несет только крещенским холодом и благочестием.

Но, несмотря на все свое досужество и связи, Домна Платоновна, однако, не озолотилась и не осеребрилась. Жила она в достатке, одевалась, по собственному ее выражению, «повбжно» и в куске себе не отказывала, но денег все-таки не имела, потому что, во-первых, очень она зарывалась своей завистностью к хлопотам и часто ее добрые люди обманывали, а потом и с самыми деньгами у нее выходили какие-то мудреные оказии.

Главное дело, что Домна Платоновна была художница – увлекалась своими произведениями. Хотя она рассказывала, что все это она трудится из-за хлеба насущного, но все-таки это было несправедливо. Домна Платоновна любила свое дело как артистка: скомпоновать, собрать, состряпать и полюбоваться делами рук своих – вот что было главное, и за этим просматривались и деньги, и всякие другие выгоды, которых особа более реалистическая ни за что бы не просмотрела.

Впала в свою колею Домна Платоновна ненароком. Сначала она смиренно таскала свои кружева и вовсе не помышляла о сопряжении с этим промыслом каких бы то ни было других занятий: но столица волшебная преобразила нелепую мценскую бабу в того тонкого фактотума, каким я зазнал драгоценную Домну Платоновну.

Стала Домна Платоновна смекать на все стороны и проникать всюду. Пошло это у нее так, что не проникнуть куда бы то ни было Домне Платоновне было даже невозможно: всегда у нее на рученьке вышитый саквояж с кружевами, сама она в новеньком шелковом капоте; на шее кружевной воротничок с большими городками, на плечах голубая французская шаль с белою каймою; в свободной руке белый, как кипень, голландский платочек, а на голове либо фиолетовая, либо серизовая гроденаплевая повязочка, ну, одним словом, прелесть дама. А лицо! – само смиренство и благочестие. Лицом своим Домна Платоновна умела владеть, как ей угодно.

– Без этого, – говорила она, – никак в нашем деле и невозможно: надо виду не показать, что ты Ананья, или каналья.

К тому же и обращение у Домны Платоновны было тонкое. Ни за что, бывало, она в гостиной не скажет, как другие, что «была, дескать, я во всенародной бане», а выразится, что «имела я, сударь, счастье вчера быть в бестелесном маскараде»; о беременной женщине ни за что не брякнет, как другие, что она, дескать, беременна, а скажет: «она в своем марьяжном интересе», и тому подобное.

Вообще была дама с обращением и, где следовало, умела задать тону своей образованностью. Но, при всем этом, надо правду сказать, Домна Платоновна никогда не заносилась и была, что называется, своему отечеству патриотка. По узости политического горизонта Домны Платоновны и самый патриотизм ее был самый узкий, то есть она считала себя обязанною хвалить всем Орловскую губернию и всячески привечать и обласкивать каждого человека «из своего места».

– Скажи ты мне, – говорила она, – что это такое значит: знаю ведь я, что наши орловцы первые на всем свете воры и мошенники; ну, а все какой ты ни будь шельма из своего места, будь ты хуже турки Испулатки лупоглазого, а я его не брошу и ни на какого самого честного из другой губернии променять не согласна?

Я ей на это отвечать не умел. Только, бывало, оба удивляемся:

- Отчего это в самом деле?

Глава третья

Мое знакомство с Домной Платоновной началось по пустому поводу. Жил я как-то на квартире у одной полковницы, которая говорила на шести европейских языках, не считая польского, на который она сбивалась со всякого. Домна Платоновна знала ужасно много таких полковниц в Петербурге и почти для всех их обделывала самые разнообразные делишки: сердечные, карманные и совокупно карманно-сердечные и сердечно-карманные. Моя полковница была, впрочем, действительно дама образованная, знала свет, держала себя как нельзя приличнее, умела представить, что уважает в людях их прямые человеческие достоинства, много читала, приходила в неподдельный восторг от поэтов и любила декламировать из «Марии» Мальчевского:

Bo n? tym swiecie, smiere wszystko zmiecie.

Robak sie legnie i w bujnym kwiecie.[1 - Потому что на этом свете смерть все уничтожит.И в пышном цветке гнездится червяк.(Перевод Лескова.)]

Я видел Домну Платоновну первый раз у своей полковницы. Дело было вечером; я сидел и пил чай, а полковница декламирала мне:

Bo n? tym swiecie, smiere wszystko zmiecie.

Robak sie legnie i w bujnym kwiecie.

Домна Платоновна вошла, помолилась богу, у самых дверей поклонилась на все стороны (хотя, кроме нас двух, в комнате никого и не было), положила на стол свой саквояж и сказала:

- Ну вот, мир вам, и я к вам!

В этот раз на Домне Платоновне был шелковый коричневый капот, воротничок с язычками, голубая французская шаль и серизовая гроденаплевая повязочка, словом весь ее мундир, в котором читатели и имеют представлять ее теперь своему художественному воображению.

Полковница моя очень ей обрадовалась и в то же время при появлении ее будто немножко покраснела, но приветствовала Домну Платоновну дружески, хотя и с немалым тактом.

- Что это вас давно не видно было, Домна Платоновна? - спрашивала ее полковница.

- Всё, матушка, дела, - отвечала, усаживаясь и осматривая меня, Домна Платоновна.

- Какие у вас дела!

- Да ведь вот тебе, да другой такой-то, да третьей, всем вам кортит, всем и угодить надо; вот тебе и дела.

- Ну, а то дело, о котором ты меня просила-то, помнишь... - начала Домна Платоновна, хлебнув чайку. - Была я намерении... и говорила...

Я встал проститься и ушел.

Только всего и встречи моей было с Домной Платоновной. Кажется, знакомству бы с этого завязаться весьма трудно, а оно, однако, завязалось.

Сижу я раз после этого случая дома, а кто-то стук-стук-стук в двери.

- Войдите, - отвечаю, не оборачиваясь.

Слышу, что-то широкое вползло и ворочается. Оглянулся - Домна Платоновна.

- Где ж, - говорит, - милостивый государь, у тебя здесь образ висит?

- Вон, - говорю, - в угле, над шторой.

- Польский образ или наш, христианский? - опять спрашивает, приподнимая потихоньку руку.

- Образ, - отвечаю, - кажется, русский.

Домна Платоновна закрыла глаза горсточкой, долго всматривалась в образ и наконец махнула рукою - дескать: «все равно!» - и помолилась.

- А узелочек мой, - говорит, - где можно положить? - и оглядывается.

- Положите, - говорю, - где вам понравится.

- Вот тут-то, - отвечает, - на диване его пока положу.

Положила саквояж на диван и сама села.

«Милый гость, - думаю себе, - бесцеремонливый».

- Эдакие нынче образки маленькие, - начала Домна Платоновна, - в моду пошли, что ничего и не рассмотришь. Во всех это у аристократов всё маленькие образки. Как это нехорошо.

- Чем же это вам так не нравится?

- Да как же: ведь это, значит, они бога прячут, чтоб совсем и не найти его.

Я промолчал.

- Да право, - продолжала Домна Платоновна, - образ должен быть в свою меру.

- Какая же, - говорю, - мера, Домна Платоновна, на образ установлена? - и сам, знаете, вдруг стал чувствовать себя с ней как со старой знакомой.

– А как же! – возговорила Домна Платоновна, – посмотри-ка ты, милый друг, у купцов: у них всегда образ в своем виде, ланпад и сияние... все это как должно. А это значит, господа сами от бога бежат, и бог от них далече. Вот нынче на святой была я у одной генеральши... и при мне камердинер ее входит и докладывает, что священники, говорит, пришли.

«Отказать», – говорит.

«Зачем, – говорю ей, – не отказывайте – грех».

«Не люблю, – говорит, – я попов».

Ну что ж, ее, разумеется, воля; пожалуй, себе отказывай, только ведь ты не любишь посланного; а тебя и пославший любить не будет.

– Вон, – говорю, – какая вы, Домна Платоновна, рассудительная!

– А нельзя, – отвечает, – мой друг, нынче без рассуждения. Что ты сколько за эту комнату платишь?

– Двадцать пять рублей.

– Дорого.

– Да и мне кажется дорого.

– Да что ж, – говорит, – не переедешь?

– Так, – говорю, – возиться не хочется.

– Хозяйка хороша.

– Нет, полноте, – говорю, – что вы там с хозяйкой.

– Ц-ты! Говори-ка, брат, кому-нибудь другому, да не мне; я знаю, какие все вы, шельмы.

«Ничего, – думаю, – отлично ты, гостья дорогая, выражаешься».

– Они, впрочем, полячки-то эти ловкие тоже, – продолжала, зевнув и крестя рот, Домна Платоновна, – они это с рассуждением делают.

– Напрасно, – говорю, – вы, Домна Платоновна, так о моей хозяйке думаете: она женщина честная.

– Да тут, друг милый, и бесчестия ей никакого нет: она человек молодой.

– Речи ваши, – говорю, – Домна Платоновна, умные и справедливые, но только я-то тут ни при чем.

– Ну, был ни при чем, стал городничом; знаю уж я эти петербургские обстоятельства, и мне толковать про них нечего.

«И вправду, – думаю, – тебя, матушка, не разуверишь».

– А ты ей помогай – плати, мол, за квартиру-то, – говорила Домна Платоновна, пригинаясь ко мне и ударяя меня слегка по плечу.

– Да как же говорю, – не платить?

– А так – знаешь, ваш брат, как осытит нашу сестру, так и норовит сейчас все на ее счет...

– Полноте, чту это вы! – останавливаю Домну Платоновну.

– Да, дружок, наша-то сестра, особенно русская, в любви-то куда ведь она глупа: «на, мой сокол, тебе», готова и мясо с костей срезать да отдать; а ваш брат шаматон этим и пользуется.

– Да полноте вы, Домна Платоновна, какой я ей любовник.

– Нет, а ты ее жалей. Ведь если так-то посудить, ведь жалка, ей-богу же, друг мой, жалка наша сестра! Нашу сестру уж как бы надо было бить да драть, чтоб

она от вас, поганцев, подальше береглась. И что это такое, скажи ты, за мудрено сотворено, что мир весь этими соглядатаями, мужчинами преисполнен!.. На что они? А опять посмотришь, и без них все будто как скучно; как будто под иную пору словно тебе и недостает чего. Черта в стуле, вот чего недостает! – рассердилась Домна Платоновна, плюнула и продолжала: – Я вон так-то раз прихожу к полковнице Домуховской... не знавал ты ее?

– Нет, – говорю, – не знавал.

– Красавица.

– Не знаю.

– Из полячек.

– Так что ж, – говорю, – разве я всех полячек по Петербургу знаю?

– Да она не из самых настоящих полячек, а крещеная, – нашей веры!

– Ну, вот и знай ее, какая такая есть госпожа Домуховская не из самых полячек, а нашей веры. Не знаю, – говорю, – Домна Платоновна; решительно не знаю.

– Муж у нее доктор.

– А она полковница?

– А тебе это в диковину, что ль?

– Ну-с, ничего, – говорю, – что же дальше?

– Так она с мужем-то с своим, понимаешь, попштыкалась.

– Как это попштыкалась?

– Ну, будто не знаешь, как, значит, в чем-нибудь не уговорились, да сейчас пшик-пшик, да и в разные стороны. Так и сделала эта Леканидка.

«Очень, – говорит, – Домна Платоновна, он у меня нравен».

Я слушаю да головой качаю.

«Капризов, – говорит, – я его сносить не могу; нервы мои, – говорит, – не выносят».

Я опять головой качаю. «Что это, – думаю, – у них нервы за стервы, и отчего у нас этих нервов нет?»

Прошло этак с месяц, смотрю, смотрю – моя барыня квартиру сняла: «жильцов, – говорит, – буду пушать».

«Ну что ж, – думаю, – надоело играть косточкой, покатай желвачок; не умела жить за мужней головой, так поживи за своей: пригонит нужда и к поганой луже, да еще будешь пить да похваливать».

Прихожу к ней опять через месяц, гляжу – жилец у нее есть, такой из себя мужчина видный, ну только худой и этак немножко осповат.

«Ах, – говорит, – Домна Платоновна, какого мне бог жильца послал – деликатный, образованный и добрый такой, всеми моими делами занимается».

«Ну, деликатиться-то мол, они нынче все уж, матушка, выучились, а когда во все твои дела уж он взошел, так и на что ж того и законней?»

Я это смеюсь, а она, смотрю, пых-пых, да и спламенела.

Ну, мой суд такой, что всяк себе как знает, а что если только добрый человек, так и умные люди не осудят и бог простит. Заходила я потом еще раза два, все застаю: сидит она у себя в каморке да плачет.

«Что так, – говорю, – мать, что рано соленой водой умываться стала?»

«Ах, – говорит, – Домна Платоновна, горе мое такое», – да и замолчала.

«Что, мол, – говорю, – такое за горе? Иль живую рыбку съела?»

«Нет, – говорит, – ничего такого, слава богу, нет».

«Ну, а нет, – говорю, – так все другое пустяки».

«Денег у меня ни грошика нет».

«Ну, это, – думаю, – уж действительно дрянь дело; но знаю я, что человека в такое время не надо печалить».

«Денег, – говорю, – нет – перед деньгами. А жильцы ж твои?» – спрашиваю.

«Один, – говорит, – заплатил, а то пустые две комнаты».

«Вот уж эта мерзость запустения, – говорю, – в вашем деле всего хуже. Ну, а дружок-то твой?» Так уж, знаешь, без церемонии это ее спрашиваю.

Молчит, плачет. Жаль мне ее стало: слабая, вижу, неразумная женщина.

«Что ж, – говорю, – если он наглец какой, так и вон его».

Плачет на эти слова, ажно платок мокрый за кончики зубами щипет.

«Плакать, – говорю, – тебе нечего и убиваться из-за них, из-за поганцев, тоже не стоит, а что отказала ему, да только всего и разговора, и найдем себе такого, что и любовь будет, и помощь; не будешь так-то зубами щелкать да убиваться». А она руками замахала: «не надо! не надо! не надо!» да сама кинулась в постель головой, в подушки, и надрывается, ажно как спинка в платье не лопнет. У меня а то время был один тоже знакомый купец (отец у него по Суровской линии свой магазин имеет), и просил он меня очень: «Познакомь, – говорит, – ты меня, Домна Платоновна, с какой-нибудь барышней, или хоть и с дамой, но только чтоб очень образованная была. Терпеть, – говорит, – не могу необразованных». И поверить можно, потому и отец у них, и все мужчины в семье, все как есть на дурах женаты, и у этого-то тоже жена дурища – всё, когда ни приди, сидит да печатанные пряники ест.

«На что, – думаю, – было бы лучше желать и требовать, как эту Леканиду суютить с ним». Но, вижу, еще глупа – я и оставила ее: пусть дойдет на солнце!

Месяца два я у нее не была. Хоть и жаль было мне ее, но что, думала себе, когда своего разума нет и сам человек ничем кругом себя ограничить не понимает, так уж ему не поможешь.

Но о спажинках была я в их доме; кружевцов немного продала, и вдруг мне что-то кофию захотелось, и страсть как захотелось. Дай, думаю, зайду к Домуховской, к Леканиде Петровне, напьюсь у нее кофию. Иду это по черной лестнице, отворяю дверь на кухню – никого нет. Ишь, говорю, как живут откровенно – бери, что хочешь, потому и самовар и кастрюли, все, вижу, на полках стоит.

Да только что этак-то подумала, иду по коридору и слышу, что-то хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Ах ты, боже мой! что это? думаю. Скажите пожалуйста, что это такое? Отворяю дверь в ее комнату, а он, этот приятель-то ее добрый – из актеров он был, и даже немаловажный актер – артист назывался; ну-с, держит он, сударь, ее одною рукою за руку, а в другой нагайка.

«Варвар! варвар! – закричала я на него, – что ты это, варвар, над женщиной делаешь!» – да сама-то, знаешь, промеж них, саквояжем-то своим накрываюсь, да промеж них-то. Вот ведь, что вы, злодеи, над нашей сестрой делаете!

Я молчал.

– Ну, тут-то я их разняла, не стал он ее при мне больше наказывать, а она еще было и отговаривается:

«Это, – говорит, – вы не думайте, Домна Платоновна; это он шутил».

«Ладно, – говорю, – матушка; бочкб-то, гляди, в платье от его шутилки не потрескались ли». Однако жили опять; все он у нее стоял на квартире, только ничего ей, мошенник, ни грошика не платил.

– Тем и кончилось?

– Ну, нет; через несколько времени пошел у них опять карамболь, пошел он ее опять что день трепать, а тут она какую-то жиличку еще к себе, приезжую барыньку из купчих, приняла. Чай ведь сам знаешь, наши купчихи, как из дому вырвутся, на это дело препростые... Ну, он ко всему же к прежнему да еще почал с этой жиличкой амуриться – пошло у них теперь такое, что я даже и ходить перестала.

«Бог с вами совсем! живите, – думаю, – как хотите».

Только тринадцатого сентября, под самое воздвижение честнбого и животворящаго креста, пошла я к Знаменью, ко всенощной. Отстояла всенощную, выхожу и в самом притворе на паперти, гляжу – эта самая Леканида Петровна. Жалкая такая, бурнусишко старенький, стоит на коленочках в уголочке и плачет. Опять меня взяла на нее жалость.

«Здравствуй, – говорю, – Леканида Петровна!»

«Ах, душечка, – говорит, – моя, Домна Платоновна, такая-сякая немазаная! Сам бог, – говорит, – мне вас послал», – а сама так вот ручьями слез горьких и заливаается.

«Ну, – я говорю, – бог, матушка, меня не посылал, потому что бог ангелов бесплотных посылает, а я человек в свою меру грешный; но ты все-таки не плачь, а пойдем куда-нибудь под нбсесть сядем, расскажи мне свое горе; может, чем-нибудь надумаемся и поможем».

Пошли.

«Что варвар твой, что ли, опять над тобой что сделал?» – спрашиваю ее.

«Никого, – говорит, – никакого варвара у меня нет».

«Да куда же это ты идешь?» – говорю, потому квартира ее была в Шестилавочной, а она, смотрю, на Грязную заворачивает.

Слово по слову, и раскрылось тут все дело, что квартиры уж у нее нет: мебелишку, какая была у нее, хозяин за долг забрал; дружок ее пропал – да и

хорошо сделал, – а живет она в каморочке, у Авдотьи Ивановны Дислен. Такая эта подлая Авдотья Ивановна, даром что майорская она дочь и дворянством своим величается, ну, а преподлая-подлая. Чуть я за нее, за негодяйку, один раз в квартал не попала по своей простоте по дурацкой. «Ну, только, – говорю я Леканиде Петровне, – я эту Дисленьшу, мой друг, очень знаю – это первая мошенница».

«Что ж, – говорит, – делать! Голубочка Домна Платоновна, что же делать?»

Ручонки-то, гляжу, свои ломит, ломит, инда даже смотреть жалко, как она их коверкает.

«Зайдите, – говорит, – ко мне».

«Нет, – говорю, – душечка, мне тебя хоша и очень жаль, но я к тебе в Дисленьшину квартиру не пойду – я за нее, за бездельницу, и так один раз чуть в квартал не попала, а лучше, если есть твое желание со мной поговорить, ты сама ко мне зайди».

Пришла она ко мне: я ее напоила чайком, обогрела, почавкали с нею, что бог послал на ужин, и спать ее с собой уложила. Довольно с тебя этого?

Я кивнул утвердительно головою.

– Ночью-то что я еще через нее страху имела! Лежит-лежит она, да вдруг вскочит, сядет на постели, бьет себя в грудь. «Голубочка, – говорит, – моя, Домна Платоновна! Что мне с собой делать?»

Какой час, уж вижу, поздний. «Полно, – говорю, – тебе убиваться, – спи. Завтра подумаем».

«Ах, – говорит, – не спится мне, не спится мне, Домна Платоновна».

Ну, а мне спать смерть как хочется, потому у меня сон необыкновенно какой крепкий.

Проспала я этак до своего часу и прокинулась. Я прокинулась, а она, гляжу, в одной рубашончке сидит на стуле, ножонки под себя подобрала и папироску курит. Такая беленькая, хорошенькая да нежненькая – точно вот пух в атласе.

«Умеешь, – спрашиваю, – самоварчик поставить?»

«Пойду, – говорит, – попробую».

Надела на себя юбчонку бумазейную и пошла в кухоньку. А мне-таки тут что-то смерть не хотелось вставать. Приносит она самоваришко, сели мы чай пить, она и говорит: «Что, – говорит, – я, Домна Платоновна, надумалась?»

«Не знаю, – говорю, – душечка, чужую думку своей не раздумаешь».

«Поеду я, – говорит, – к мужу».

«На что, мол, лучше этого, как честной женой быть – когда б, – спрашиваю, – только он тебя принял?»

«Он, – говорит, – у меня добрый; я теперь вижу, что он всех добрей».

«Добрый-то, – отвечаю ей, – это хорошо, что он добрый; а скажи-ка ты мне, давно ты его покинула-то?»

«А уж скоро, – говорит, – Домна Платоновна, как с год будет».

«Да вот, мол, видишь ты, с год уж тому прошло. Это тоже, – говорю, – дамочка, время не малое».

«А что же, – спрашивает, – такое, Домна Платоновна, вы в этом полагаете?»

«Да то, – говорю, – полагаю, что не завелась ли там на твое место тоже какая-нибудь пирожная мастерица, горшечная пагубница».

«Я, – отвечает, – об этом, Домна Платоновна, и не подумала».

«То-то, мол, мать моя, и есть, что „не подумала“. И все-то вот вы так-то об этом не думаете!.. А надо думать. Когда б ты подумала-то да рассудила, так, может быть, и много б чего с тобой не было».

Она таки тут ух как засмутилась! Заскребло, вижу, ее за сердчишко-то; губенки свои этак кусает, да и произносит таково тихонечко: «Он, – говорит, – мне кажется, совсем не такой был».

«Ах вы, – подумала я себе, – звери вы этакие капустные! Сами козами в горах так и прыгают, а муж хоть и им негож, так и другой не трожь». Не поверишь ты, как мне это всякий раз на них досадно бывает. «Прости-ка ты меня, матушка, – сказала я ей тут-то, – а только речь твоя эта, на мой згад, ни к чему даже не пристала. Что же, – говорю, – он, твой муж, за такой за особенный, что ты говоришь: не такой он? Ни в жизнь мою никогда я этому не поверю. Всё, я думаю, и он такой же самый, как и все: костяной да жильный. А ты бы, – говорю, – лучше бы вот так об этом сообразила, что ты, женщиной бымши, себя не очень-то строго соблюла, а ему, – говорю, – ничего это и в суд не поставится, – потому что ведь и в самом-то деле, хоть и ты сам, ангел мой, сообрази: мужчина что сокол: он схватил, встрепенулся, отряхнулся, да и опять лети, куда око глянет; а нашей сестре вся и дорога, что от печи до порога. Наша сестра вашему брату все равно что дураку волынка: поиграл, да и кинул. Согласен ли ты с этой справедливостью?»

Ничего не возражаю.

А Домна Платоновна, спасибо ей, не дождавшись моего ответа, продолжает:

– Ну-с, вот и эта, милостивая моя государыня, наша Леканида Петровна, после таких моих слов и говорит: «Я, – говорит, – Домна Платоновна, ничего от мужа не скрою, во всем сама повинюсь и признаюсь: пусть он хоть голову мою снимет».

«Ну, это, – отвечаю, – опять тоже, по-моему, не дело, потому что мало ли какой грех был, но на что про то мужу сказывать. Что было, то прошло, а слушать ему про это за большое удовольствие не будет. А ты скрепись и виду не покажи».

«Ах, нет! – говорит, – ах, нет, я лгать не хочу».

«Мало, – говорю, – чего не хочешь! Сказывается: грех воровать, да нельзя миновать».

«Нет, нет, нет, я не хочу, не хочу! Это грех обманывать».

Зарядила свое, да и баста.

«Я, – говорит, – прежде все опишу, и если он простит – получу ответ, тогда и поеду».

«Ну, делай, мол, как знаешь; тебя, видно, милая, не научишь. Дивлюсь только, – говорю, – одному, что какой это из вас такой новый завод пошел, что на грех идете, вы тогда с мужьями не спрашиваетесь, а промолчать, прости господи, о пакостях о своих – греха боитесь. Гляди, – говорю, – бабочка, не кусать бы тебе локтя!»

Так-таки оно все на мое вышло. Написала она письмо, в котором, уж бог ее знает, все объяснила, должно быть, – ответа нет. Придет, плачет-плачет – ответа нет.

«Поеду, – говорит, – сама; слугою у него буду».

Опять я подумала – и это одобряю. Она, думаю, хорошенькая, пусть хоть первоначально какое время и погневается, а как она на глазах будет, авось опять дух, во тьме приходящий, спутает; может, и забудется. Ночная кукушка, знаешь, дневную всегда перекукует.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Потому что на этом свете смерть все уничтожит.

И в пышном цветке гнездится червяк.

(Перевод Лескова.).

Купить: <https://telnovel.me/ru/nikolay-leskov/voitel-nica>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)